



Рассказ

Исторические вехи. 2014 год. Возвращения Крыма в состав России. События сопровождался общенациональным подъёмом. Одни гадают и спорят: кто за этим стоял? Президент Путин, “вежливые люди” в камуфляжной форме или президент Обама с мировым правительством? А я говорю:

— Так решил Тимофей.
Началось с того, что у Нاستи украли iPhone. Даже в Москве, в элитной школе, где она училась, такой iPhone был не у каждого. А для подростков в городе Феодосия, куда Настя приехала на каникулы, — предметом зависти и вожделения!

И тогда возникло имя — “Коля”. Из уст крымских девочек оно прозвучало с ощущением эхом: “Ко-оля-а!”

У iPhone есть свой номер — идентификатор — местонахождение iPhone утаить нельзя. Коля был человеком, который мог высчитать местонахождение аппарата.

Подружки вели Настю к месту встречи, лепясь и подтягиваясь к её стати и росту.

Настя обладала редчайшим даром: красоты своей не осознавала. С детства слышала вокруг: “Какая красивая девочка! Какие глаза!”. Одноклассницы бежали на всевозможные кастинги, а Настя и без того останавливали в метро, на улице, в школе, предлагая выступить в качестве “модели”, манекенщицы, участницы телешоу. Несмотря на школьный возраст к родителям жаловали свататься “престижными” женихи, обещая терпеливо дожидаться совершеннолетия и даже взять на себя все последующие затраты на учёбу, на дом где-нибудь заграничей. “Царица Тамара!”, — звал позировать друг дедушки, великий художник. Дедушка ездил с внучкой в Оптину пустынь: Настя повязалась платком и, смуглая, с открытым взором, действительно стала походить на грузинскую царицу или пока княжну из древности.

Очередь к почитаемому монаху на исповедь вилась व्यюном во весь Храм, но девочку с точёными чертами и вдруг вросившимися очами он исповедовал долго, будто грехов за ней было на три жизни. Дедушка потом, когда ехали в машине, ревностно посмеивался: “Что-то глаз у этого монаха загорелся, аж страшно стало! Чего он

Так решил Тимофей

тебе всё выговаривал?!”. “Что я должен хранить себя для любви и семьи”. Была зима, Настенька не побоялась испускаться в святом источнике, и так и ехала в машине по дороге, не моргнув, устремив взор куда-то туда, где каждый видит лучшую из жизней.

Череда кафе и ресторанов вдоль набережной Феодосии зазывала яркой рекламой и шумной музыкой. Настя пыталась угадать, кто из молодых людей на положенном месте может оказаться этой самой местной знаменитостью, Колей? Парень стоял в белой футболке: рослый, раскрасневший. Красив, но вряд ли тот, кто “шарит в интернете”. Вот, с длинными волосами, серьгой в ухе?

Из группы простенько одетых ребят приближался невысокий, худощавый мальчик. Взял коробку из-под iPhone. Парень рассматривал данные, и руки его притянули взгляд: будто от другого тела. Про тактике говорят: стальные. Коля поднял глаза и страшно смутился.

Мальчики её круга в столице смущались редко: а чего им смущаться, если они, по общему признанию Настиних одноклассниц, “в шоке от самих себя”?

Через день-другой Коля объяснил, что если ворованный iPhone не включили сразу, то обычно ему дают время “отлежаться”. На утешение он смущённо протянул маленький целлофановый пакетик с серёжками и

кулончиком собственной работы: он был потомственным ювелиром.
Коля Божий промысел слышал. Искать надо не iPhone...

...И повёл Настю знакомиться с родителями. Жил он на горе. Дом был округлым — в виде башни. И ограда каменная с железными воротами. Крепость.

А двор — весёлый! Прудик, выложенный из булыжника, с цветастыми крупными рыбками. По дорожкам монетки, залитые в покрытие. Подкова. Маленький огорожок с высокими помидорами.

Отец с сыном были разными: Коля младший — немногословный, сдержанный. Отец же, невысокий, плотный, — вихрь. Выскочил из мастерской в рабочем фартуке, с баночкой в руке, где лежали в жидкости украшения: “Я мигом!”. Звали его, оказалось, Николаем, — так что Коля был Николаем Николаевичем. Брат вышел: крепкий, длиннорукий, мускулистый. Представился и отошёл в сторонку, словно исчез. Улыбчивая мама Ирина с ямочками на щеках усаживала за стол:

— Извини, у нас только все постное — сейчас пост. Плов с мядами, пробовала?

После обеда Коля попросил отца разрешения показать домашнюю церковь. “Да, конечно!” — поднял отец вверх руку.

Они поднялись по узкой винтовой лестнице в комнату с большой кроватью. Спально родителей. В продолговатое, во всю стену, окно открывался вид на море!

За занавеской укрывалась ещё одна крохотная комнатка — ниша, вся заставленная иконами. Очень старыми, потемнелыми, и новыми, яркими. Библия лежала, книжки — жития святых.

Юноша зажгет свечу в лампаде перед ликом Спасителя.

Так они стояли, крымский парень, гражданин Украины и московская девочка, россиянка.

— Фуфайку пришёл показать, — разрушил их молитвенное молчание Николай-старший.

Он держал в руках телогрейку зелёного цвета, без воротника. Развернул её руками в стороны.

— Её многие годы, ещё до войны, в лагере носил один священник. Видите, какая узенькая? Большая там была не нужна. Он был Святым: всё терпел, очень помогал людям. Потом эта телогрейка досталась моему деду. Мой дед тоже был священником. Его тоже посадили. Перед тем как его отправить, он попросил свидания с женой — моей бабкой — и сыном, моим отцом. Дал наказ, чтобы они от него отказались. Написали заявление и оказались. Так он их спас. Иначе бы их тоже истребили.

Настя осторожно потрогала ткань фуфайки. Николай старший поднёс её к носу: “До сих пор этот запах хранит, лагерь”. Вдохнула и Настя. Пахло горящей восковой свечой, чистой тканью: телогрейка была хорошо постирана.

С тем же запалом, выхода, отец толкнул ещё одну дверь, указал на новенький унитаз: “Здесь раньше кладовка была, вот, только вчера поставил, всё подвёл!”. Он спускался по винтовой лестнице, вроде небольшой, но на глазах делаясь всё шире, укрупняясь: “Здесь мазка чужими руками не сделано. Всё мы. Где я. Где сыновья. А где и мама наша!”. И дом в три этажа был ему уже тесноват.

Брат Саша опять словно вышагнул откуда-то, вызвался отвести. Машина была, как из военных фильмов. “Газ-69”, — пояснял с гордостью Николай-старший. — Шестидесят четвёртого года”. Тут же стоял странный мотоцикл

с ручкой на баке. “Сорок девятого года!” На машине с открытым верхом покружили по улочкам, выехали по круче, помчались краем высокого морского берега...

— Да пойми ты, пойми, — вразумлял Настю возмущенный дедушка, — здесь люди вырастают, видя перед собой что?! Веселящихся, выпивающих, блудящих людей! И у них складывается впечатление, что такова вся жизнь. Парни здесь бало-

ваны, развращены, привыкли, что девушки легко доступны!...

Скоро дедушка уезжал. Он относился к тому поколению, которое сберегла советская мораль. Переспал с девушкой — надо жениться. Слевачить, гулянуть — как без любви? Его поколение вечно стремилось к высоким целям, искало себя до седых волос, к пятидесяти вдруг обнаружив, что проморгали страну, судьбу, личную жизнь. Нерастраченных сил и здоровья оставалось предостаточно, давай быстро реализовываться, жениться на молодых, у которых тоже образовалась своя брешь в поколении. Они с удовольствием выходили за великовозрастных юнцов замуж: ни в пример сверстникам, выбравшим виртуальный мир в окошке компьютера, они любили реальную жизнь и от них можно было родить.

Молодая жена дедушки Таня работала государственной служащей и могла приезжать строго в отпускные дни. А дедушка трудился в разных местах, он даже в Крыму, на Украине, пытался начать дело. Отчего в гнев только потрясал руками: “Ладно — тянут, но ведь вытнут — и в ноль!” Мотался между Крымом и Москвой туда-сюда с маленькой дочерью Василисой.

На этот раз ему надо было лететь в Сибирь, и с двухлетней Василисой оставаться внучку — Настю. То есть племянница нянчилась с тётёй.

Теперь Коля и Настя гуляли по набережной с маленькой девочкой, за которой глаз да глаз. А что такое, если рядом ребёнок? Замечено: живут муж с же-



Рождественский рассказ

“А любовь как сон...” — व्यюном вилась в голове назойливая строчка из старой песни, но тут же на неё напалывал призыв: “Смерть врагам!” — отчего настроение невольно изменилось. Оглянулся по сторонам и не нашёл глазами даже в ясную погоду этого врага, потому что тот на открытый поединком не выходил. Враг исподтишка, с дальнего расстояния, заправски стрелял “смерчями” и “градами”, стрелял беспорядочно и бесцельно, — как казалось наивным, забытым, изурнённым пулюгодовым огненным испытанием жителям на Донце. Но это неправда, и Егор знал наверняка, чему свидетель его несгибаемая, нежная в чёрной перчатке рука. Стреляли они всерьёз и прицельно. Стреляли беспощадно. Стреляли так, чтобы жизнь до весны умерла и на месте их ещё недавно размеренной жизни, домов и цветущих палисадников образовалась голая степь, чтобы вернулось гуляй поле гайдуков...

“А любовь как сон...” — возвращалась мелодия в шевеление мозга и понуждала его замечать, обратить внимание, как белый туман застал стёкла, чудом уцелевшие от сотрясения бомбами, выйти во двор, или точнее в пределы контура бывшего забора его усадьбы. В хуторе и прежде было немного дворов и насельников. Теперь один он остался да старая дворянка, которая с первых дней обстрела, ещё в начале лета, сама по себе перебралась под печь и уже никогда не оставалась одна вне дома. Он тоже не то чтобы признал правильность её выбора, скорее даже не заметил, так велика была печаль, пережитая после первых обстрелов, после гибели тех, кто жил рядом, но сгорел вместе с усадьбами либо подорвался на минном поле...

— Эх, да что там, — ступая босыми ногами по первому снегу, повторял он после первой, врезавшейся беззабудно строки из песни; вспомнил свою незабудку, её русую косу, синие очи и слезинку, что сорвалась тогда с размаху на снег и прожгла сквозь глубину дыры землю, как бы ужаленная первым его прикосновением, — на том же месте, в тот же час, — как уже на груди его душегрейки заиндевала круглой жемчужинкой другая слеза...

Его долгий отчуждённый, застывший пред внезапно выпавшим снегом взгляд разбудил зацп, вынырнувший из-под кочи, и тоска вавилонской строки: “А любовь как сон...” — и далее крик ворона, что иерехонской трубой на всю Ивановскую улицу каркал одному ему ведомую тревожную песню. И что удивительно, слушать вместе с ним ворона спустились с чердака белая горlinkа промеж простых сизарей, и белка, забавлявшая вершинами елей на орех... Ожили в овине куры, утки и гуси... Живенько так загалдели, что он невольно ухмыльнулся, расцвел радостью, но тотчас уныло голову свесил на груди: “Кто, — спросил он у ветра, — скажи мне, имеющий душу, способен вынести это...”

Он действительно с трудом выносил. Правда, курочек было три, уток полторы — одна хроменькая, лапку осколком мины снесло, да и гусей, как водится, осталось два: один — белый, второй — серый; весёлые, в отличие от курочек и уток, гуси... Удивительно, право дело, людей не осталось, а эти живют, кормятся... Поди же ты, подумай, как прокормить их в безжизненном пространстве, а он их держит при себе, разговаривает.

— А у тебя в детстве были птицы, — вспомнил он, как спросил его приятель когда-то давно, на пороге Ливадийского дворца, где они наслаждались хвойным ароматом, весёлым пернатым гомоном, бушующим внизу Чёрным морем...

— Конечно, — сверх меры простовато ответил тогда, — индюки, куры, гуси... — и оба расхохотались над столь явной его непосредственностью.

Вот и теперь он не заметил, что бредёт по снегу босыми ногами, совершенно бесчувственным к холоду, но не к дрожи земли, от дальних разрывов, туло отдававшихся в груди...

“А любовь как сон...” — вновь акунулась уномной мухой строчка в ушах зачаровано и ворон в ответ с высоты далека, над дымоходом, каркнул, и голубы встrepленулись, а за ними нервыиச்சа закудахтала куры, утки закаркали и застучали крыльями гуси: “Га-га-га...”. И он справно зашагал босыми ногами к овину:

— Сейчас-сейчас, мои хорошие, — говорил к ним с ласковой взаимностью, — будет вам и зёрнышко, будет и вода...

Господи, подумать только, откуда в этой безлюдной пустыне зёрнышко, если сам уже который месяц хлеба не то что белого, а и чёрного не едал, однако ж не хлебом единым

жив человек...

— Чу! — дважды, из Заречья удар за ударом возвестили колоколом от сельской церкви Георгия Победоносца, что обедня у них благополучно завершилась и пол начинает править панихиду по тем, что лежат в своих доминах лицом к алтарю, всю ночь слушавши безмездно Псалтырь старушки-монахини и пронзительный свист сверчка от железом обитой рубры.

“А любовь как сон...” — сверлило голову, тогда как колокол вновь дал: “Чу!” — два похоронных удара, и он перекрестился за тех, кто обрёл душе вечный покой, кого отправят на санках последней дорогой без лишних рыданий...

Заступившие с севера серые стальные облака поглотили недолгий свет солнца.

— Короток век, — закрывая калитку овина, огрызнулся на самого себя, — а песня житься не даёт...



Сергей КОТЬКАЛО

дома, смело загавкал на Заречье, откуда выжило и уже напирало снега на их хутор.

— Так и чему радуешься, глупый? — потрепал Егор собаку. — Впрочем, Сочельник ведь, — и пошёл внутрь дома.

Затопил дровами печь. Поставил в ковшиках варить для куты размоченную пшеницу и узвар из сухих яблок, груш, абрикосов и слив, заготовленных незабудкой с прошлого года. Трижды убегала вода на чулгуну. Трижды обжёгся, прежде чем довёл узвар до кипения. Трижды принимался стелить праздничный скатерть на стол, но всякий раз останавливался строкой из песни: “А любовь как сон...”

Меж тем время давно перевалило за полдень. Метель выла уже по-настоящему, кидала в окно снегом. Но на душе у Егора прибывала радость, неведомое торжество чего-то такого, чего и сам не понимал. Куда подавалась чувство одиночества, брошенности, войны, дрожания земли и грохота пушек. Заживлялось, разгоралось вместе с печкой сердце жоны. Он даже парадную тройку достал, брюки отутюжил... Сапоги начистил, но убрал в шкаф. Примерил битые серые валенки с галошами, загнул навыорот края. Походил по дому туда-сюда. Дворянка выглянула из-под припечка, дивилась странному поведению хозяина, игриво в такт походке покусилась.

— Дивны дела Твои, Господи, — сам себя не понимая, сказал Егор на Образ и перекрестился, задумавшись.

Правда, не так давно от себя услышал такие слова, да и креститься... “А любовь как сон...” — снова сшибла с мыслей застрявшая в уме мелодия.

— Смерть врагам! — невесть откуда громом грянул чужой в доме голос в ту самую минуту, когда Егор, нагнувшись долгу, снимал с ног валенки.

— Помоги, Господи, — нисколько не смутившись, не вставая с табуретки, сказал он трём бравым, кпированным служивым...

— Сказали Боги, щоб и вы помогли, — продолжала стоять у порога, ответил один из них, — а то так хочется исты, що ниде и перестаты...

Егор поднялся. Служивые, хоть и вооружены до зубов, пусть и на слово быстрее, но худосочные и по зоркости взгляда — трусоваты — за оружие крепко держатся. Тот из них, что посмелее и горластей, продолжил:

— Здорово живэть.

— И вам не хворать, — сказал Егор. — Мою, вот, — тыча рукою в подприпечье, откуда торчал нос дворянки, — в такую погоду из дома не выгонишь...

— Не бойсь, — перебил единственно говорящий, — не довго осталось...

— Так и я перебоюсь своё, и один на хуторе остался. А вы проходите, садитесь, — Егор указал на стулья и кресла.

— Неэ что сидити, дома жинка та диты, а твои дэ? Хто ще на хутори живэ?

Егор взгрустнул выдохом:

— Сорока-воровка на дубе, да белка на ели...

— Шутковать, брат з намы не трэба, — зло оборвал говорун. — Ще на вмерла Украина... Мы и про тэбэ всеэ знаем. Живы пока соби на здоровье, а птыця твоя вже на литае. З намы поидэ пидтрымуватэ рэволюцію... Хлопцям, сам розумиш, розговляться трэба, — продеklarировал цель прибытия и вышел за служивыми...

Внутри Егора мгновенно вскипела обиды, он даже что-то было уже хотел..., как в его голове опять запелась песня: “А любовь как сон...” — и это его остановило.

Служивые также бесшумно исчезли, как и появились. Следы их пребывания тотчас замела вьюга. Лишь калитка овина бесхозно качалась на ветру.

— Вот и донесли, — сказал Егор дворянке, — и остались с тобою вдвоём, тогда как ещё утром были куры, и утки, и два весёлых гуса. Не доглядели мы с тобой, не защитили наших певчих, сами не ели — им отдавали, а они... Улетели! Эх-х! Что проку плакать и тужить, — смахнув рукой разочарованье. — Потеряли бдительность, не сберегли для незабудки, а так хотелось...

Безмысленно присел на табуретку Егор, посидел. Снова натянул валенки. Снял. Он растерялся, искал, за что зацепиться, как и куда направить своё отчаянье, и тут снова к нему прилетели слова: “А любовь как сон...”

“Да, — ёкнуло в сердце, — Сочельник, надо

ёлку наряжать... До первой звезды наряжать...”

Егор вышел на террасу и вернулся с пышной, пахнущей морозной свежестью маленькой елью, уже встроенной в треногу, поставил её на стол. Снял со шкафа перевязанную старую коробку с новогодними игрушками, где вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, в накрахмаленных белых шубах, жили бумажные пятныстые ослики, беленькие зайчата, сизари и краснопузые снегири, стеклянные серебряные сосульки, перламутровые ангелочки, шишки и орехи, золотые рыбки, волхвы с дарами на верблюдах, оранжевые китайские фонарики, свечи... И, конечно же, шары... Много шаров... Большие и маленькие, красивые, синие, золотые...

“А любовь как сон...” — егосила, зудила строка и понуждала украшать ёлку.

Всю свою жизнь Егор сам наряжал ёлку. Это было особенное действо, ежегодное возвращение в детство. Он развешивал стихийно игрушки, обволакивал ёлку бусами, мишурой и гиляндами так, чтобы они не закрывали композицию движения игрушек. Водружал Вифлеемскую звезду над всем разноцветьем и лишь затем ставил Деда Мороза и Снегурочку под ёлку так, будто они гуляют в Рождественскую ночь по лесу.

Время бежало быстро. Егор напрочь забыл незваных гостей. Прибрался в трику, разве что бабочку не напятил на ворот белой рубашки... Опять в валенки обулся. Пальто классическое из полушерстяного драпа надел, наверху вокруг шеи шерстяное красное в белую клетку кашне по погоде, чтобы можно было спрятать щёки лица и нос от холода и ветра... Прямо фронт городской, а не хуторянин, если бы не битые валенки...

— Дни коротки, ночи длинные, — сказал Егор, заглянув в окошко.

Вьюга стихла. Двор и овин замело снегом. Первая звезда едва-едва пробивалась сквозь синь вечера. Красота неземная, будто и не было пурги, будто и не жили его птицы в овине...

— Чу! — позвал колокол святого Георгия.

— Вот и пойду, — ответил Егор, — не солоно хлебавши, поисповедуясь у отца Петра, поплачемся друг дружке в жилетку... — Прикрыл в печке тепловую вытяжку, потрепал мордашку дворянки: Не скули! Вернись, разговеемся...

Вышел из дома, утпн в снегах белых, а в голове слова песни: “А любовь как сон...” — и радость на сердце нечаянная.

Откуда берётся? — неведомо.

По пояс в снегу бредёт наобум. Темень густоющая. Ни зги не видать. Только вдали, из Заречья, доносится вызывательное нечастое:

— Чу! — от святого Георгия и мороз по штанам пробирает свежестью.

Колокол глухо гудит, зовёт в церковь прихожан и нельзя сказать, что зовёт сурово и властно. Напротив, даже в глухом ударе колокола слышится сладкая благостность. Народ тянется, где реденько из хуторов, где гуще из самого Заречья... Что-то такое разгорается, раз-

видневается сначала в душе каждого, затем вблизи самого святого Георгия.

Егор брёл через Донец так же, как когда-то бесстрашно брела в Заречное его мать и пела, чтобы отогнать от себя подальше волчьи горячие очи. Пела отчаянно, открыто, но поженски сердечно. Пела русские и украинские песни. В церкви её, отроковицу, школьницу, однажды спросил покойный настоятель:

— А что Верочка, ты не поёшь Псалмы или хотя бы колядки?

— Пою, батюшка, в церкви и дома пою, а среди волков спиваю... — и потом заплакала, да и брякнула: — Вы бы, батюшка, с волками ещё и не то б запели...

Егор всё порывался спросить у мамы, когда она ещё жива была, что же такое “не то б запели”, но так и не успел. Лишь годы спустя узнал, на побылке. Махнули они с Софийкой, сестрой-покойницей, — один всего-то раз и было, — на Николу Зимнего в Заречье, в бесснежье. Силциги Егор спыл недюжинной, ничего и никого не боялся, а ледок под ними слабеющий, ещё не окреп, потрескивает. Сестра завоновалась, заохала. И это бы ничего, но в темноте загорелись волчьи очи. Пуще прежнего забоялась Софийка, затрепетала. Схватил Егор её в охапку, прижал к сердцу и пошagal, что было душо, уверенной поступью прямо на волков. Сестрица и запела ни к селу, ни к городу: *Что ты вьёшься надо мной?*

*Ты добычи не дождёшься,
Чёрный ворон, я не твою!..*

Да так красиво запела и пела от начала и до конца громко и правильно, нутром, словно не на льду Донца, а в самом Большом театре. Егор даже пожалковал, что раньше за ней не знал такого таланта...

Вышли на берег. Волки отступили. Софийка смолкла. Он и говорит сестре:

— Что ж ты смолкла, пой.

— Нет, — говорит ему, — на берегу не могу. Я, как мама, только на воде пою.

Так, вспоминая сродников, Егор и догрёб по снегу до Заречья.

Напльывая неторопно на гору по шуршащему снегу, взбираясь в синем свете к святому Георгию. Слух сердца сладко щекал малиновым звоном дымящейся в звёздной россыпи в серебряных покровках колоколки. Помимо воли, едва шевеля губами, Егор пел “Свете тихий...”. Самую малость оставалось, чтобы перенестись уже на тропу вдоль церковной ограды, но он притормаживал ход, продлевая удовольствие слушать ласковую молитву самой природы, славящей Рождество Божественного младенца.

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...*

Перекрестясь на входе на икону Георгия Победоносца, пронзающего копием змия, нарядные прихожане, укрепившись ангельско силой, входили ко всенощной в церковь. Но вот в двери застряла ожидавшая прибавления молодая мать. Крошка-малыш таянул её обратно, потому как не успел наглядеться на рождественскую звезду с лиловым отливом. Помог матери старенький настоятель, скоренно семенявший коротенькими шажками, приширивая на папери:

— Пойдём-пойдём, — ручкой легонько похлопывая шубку малышка, — я тебе большую звезду покажу, — и мальчуган резвенько побежал, увлекая всех за собой.

Народ в притворе таянул руки к настоятелю, вопросы спрашивал... Он благословлял, отвечая:

— Нет-нет, — говорил, — кто не исповедался, ждите до “Отче наш”, — пробивался сквозь строй внутрь храма.

Маленьким, бледненьким, беленьким, совсем неземным оказался священный Егору.

— Маленький, да удаленький, — громко и весело сказался бездаресно отец Пётр. — Ты брат сантименты у нас в церкви не разводи, — наугад буряков в движении продолжал батюшка. — Да-да, Егор, не разводи. В храме надо держаться молитвы, не жалости... Ступай к аналою, там доскажу...

Сказал и пошаркал своим чередом к солее, цепляясь за рассыпанный по полу ельник. Огни в церкви ещё в полную мощь не зажгли, но и так все сияли как херувимы и серафимы на небе под куполом. Вольноопределяющийся, как звал его батюшка, псаломщик Василий монотонно читал на клиросе великое повечерие.

Однако, почуяв приближение настоятеля, голосом оживел, с выражением читал, как в драматическом театре, чего, собственно, и не любил отец Пётр, нарочитую выспренность псаломщика. Народ по случаю праздника слушал Василия внимательно, крестился и вздыхал...

— Ты, Егор, не унывай, — сокрушаясь, преврал исповедника батюшка. — Послушай старика никчемного, — сочувственно гладил по голове. — Впереди зима, а за ней — лето. Будет тебе два весёлых... Беленький и рыженький... Сиротки, — иносказательно, духом говорил ему, — прими с миром на хутор. Пусть твоя незабудка их обихаживает...

— Так нет же её, — сорвался Егор...

— После службы всё будет, — сказал отец Пётр ему и покрыл голову епитрахилью.

Слова батюшки крепко зацепили Егора. Так крепко, что он ещё сколько-то времени пребывал в неведении, где небо и земля, и лишь отдалённо слышал, как долго читает псаломчик. Собственно в забытье пребывал, пока вольноопределяющийся не вытанул над полнотою храма во фронт и уж очень торжествующе воззвал:

— С нами Бог! Разумеите языцы...

Далее за псаломчиком bravо вступил хор: